

Иосиф Александрович
БРОДСКИЙ
1940 – 1996

Иосиф
БРОДСКИЙ

***Новые стансы
к Августе***

Стихи к М. Б., 1962–1982



Санкт-Петербург

*Новые стансы
к Августе*

* * *

Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидал, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.
Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.
Стол пустовал, поблескивал паркет,
темнела печка, в раме запыленной
застыл пейзаж, и лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным.
Но мотылек по комнате кружил,
и он мой взгляд с недвижимости сдвинул.
И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул.

2 февраля 1962

ПЕСЕНКА

«Пролитую слезу
из будущего привезу,
вставлю ее в колечко.
Будешь гулять одна,
надевай его на
безымянный, конечно».

«Ах, у других мужья,
перстеньки из рыжья,
серьги из перламутра.
А у меня — слеза,
жидкая бирюза,
просыхает под утро».

«Носи перстенок, пока
виден издалека;
потом другой подберется.
А надоест хранить,
будет что уронить
ночью на дно колодца».

НОЧНОЙ ПОЛЕТ

В брюхе Дугласа ночью скитался меж туч
и на звезды глядел,
и в кармане моем заблудившийся ключ
все звенел не у дел,
и по сетке скакал надо мной виноград,
акробат от тоски;
был далек от меня мой родной Ленинград,
и все ближе — пески.

Бессеребряной сталью мерцало крыло,
приближаясь к луне,
и чучмека в папахе рвало, и текло
это под ноги мне.
Бился льдинкой в стакане мой мозг в забытьи:
над одною шестой
в небо ввинчивал с грохотом нимбы свои
двухголовый святой.

Я бежал от судьбы, из-под низких небес,
от распластанных дней,
из квартир, где я умер и где я воскрес
из чужих простыней;
от сжимавших рассудок махровым венцом
откровений, от рук,
припадал я к которым и выпал лицом
из которых на Юг.

Счастье этой земли, что взаправду кругла,
что зрачок не берет
из угла, куда загнан, свободы угла,
но и наоборот;
что в кошачьем мешке у пространства хитро
прогрызаешь дыру,
чтобы слез европейских сушить серебро
на азийском ветру.

Что на свете — верней, на огромной вельми,
на одной из шести —
что мне делать еще, как не хлопать дверьми
да ключами трясти!
Ибо вправду честней, чем делить наш ничей
круглый мир на двоих,
променять всю безрадостность дней и ночей
на безадресность их.

Дуй же в крылья мои не за совесть и страх,
но за совесть и стыд.
Захлебнусь ли в песках, разобьюсь ли в горах
или Бог пощадит —
все едино, как сбившийся в строчку петит
смертной памяти для:
мегалополис туч гражданина ль почитит,
отщепенца ль — земля.

Но услышишь, когда не найдешь меня ты
днем при свете огня,
как в Быково на старте грохочут винты:
это — помнят меня
зеркала всех радаров, прожекторов, лик
мой хранящих внутри;

и — внехрамовый хор — из динамика крик
грянет медью: Смотри!
Там летит человек! не грусти! улыбнись!
Он тарашится вниз
и сжимает в руке виноградную кисть,
словно бог Дионис.

1962

* * *

В твоих часах не только ход, но тишь.
Притом их путь лишен подобья круга.
Так в ходиках: не только кот, но мышь;
они живут, должно быть, друг для друга.
Дрожат, скребутся, путаются в днях,
но их возня, грызня и неизбывность
почти что незаметна в деревнях,
где вообще в домах роится живность.
Там каждый час стирается в уме,
и лет былых бесплотные фигуры
теряются — особенно к зиме,
когда в сенах толпятся козы, овцы, куры.

* * *

Ты — ветер, дружок. Я — твой
лес. Я трясусь листвою,
изъеденною весьма
гусеницею письма.
Чем яростнее Борей,
тем листья эти белей.
И божество зимы
просит у них займы.

* * *

Что ветру говорят кусты,
листом бедны?
Их речи, видимо, просты,
но нам темны.
Перекрывая лязг ведра,
скрипящий стул —
«Сегодня ты сильнее. Вчера
ты меньше дул».
А ветер им — «Грядет зима!»
«О, не губи».
А может быть — «Схожу с ума!»
«Люби! люби!»
И в сумерках колотит дрожь
мой мезонин...

Их диалог не разберешь,
пока один.

* * *

Черные города,
воображенья грязь.
Сдавленное «когда»,
выплюнутое «вчера»,
карканье воронка,
камерный айболит,
вдавливанье позвонка
в стираный неолит.

— Вот что нас ждет, дружок,
до скончанья времен,
вот в чем твой сапожок
чавкать приговорен,
так же, как мой штиблет,
хоть и не нов на вид.
Гончую этот след
не воодушевит.

Вот оттого нога,
возраст подметки для,
и не спешит в бега,
хоть велика земля.
Так что через плечо
виден беды рельеф,
где белеет еще
лампочка, перегорев.

Впрочем, итог разрух —
с фениксом схожий смрад.
Счастье — суть роскошь двух;
горе — есть демократ.
Что для слезы — впервой,
то — лебеда росе.
Вдохновлены травой,
мы делаемся, как все.

То-то идут домой
вдоль большака столбы —
в этом, дружок, прямой
виден расчет судьбы,
чтобы не только Бог,
ночь сотворивший с днем,
слиться с пейзажем мог
и раствориться в нем.

1962–1963